5.6.94.

242

Толик уже ходил в лес за грибами

Моск. новости. – 1994. – 5-12 июня (№ 23). – С. 5

Юрий РОСТ

ВСТРЕЧА

Если кто из художников спрашивает: «Что слышно о Толике?» – имеется в виду Илья Кабаков. В детстве он стеснялся своего домашнего имени Лелик и в школе самоназвался Толиком. Это имя за ним и осталось для своих. А еще в детстве его звали Щелочки: когда он смеется, глаз не видно, как у китайца.

Что же о нем слышно? Что его выставки идут в разных странах, что их очередность расписана надолго вперед («Как у Ростроповича», – сказала жена Вика), что пишут о нем книги и даже семинары открывают, трактующие его творчество. Он «уехал»? Формально нет. Но как отказаться, если очередная страна отдает тебе на месяц зал в галерее современного искусства и еще два месяца можешь готовиться к выставке, живя в апартаментах при музее, то есть рисовать новое?.. И без дефицита в красках, кистях и прочем (отчего голова кружится у нашего художника). Илья не отказывается и правильно делает.

Я не просто рада за него – счастлива. 20 лет, бывая у него в гостях, думала: вот она, отвага, о которой в романах пишут, – упорно рисовать то, что на дух не нужно твоей стране. И не просто «не нужно» (не печатают, не выставляют), а противно (ненавидят). Страна в лице МОССХа, КГБ и редакций газет стыдила его за делание «чепухи», обзывала, угрожала. Он верил угрозам, ждал, что отберут мастерскую, выпрут из союза и – продолжал работу. После очередной статьи в «совраске» или «мосправде» приходил ко мне в тоске: «Кто такой «А.Степанов»? Что ему до меня?» Я утешала: «Никто. Тусклый псевдоним комитетчика. Они никогда не подпишутся «Цветков» или «Мухин», а всегда «Петров», «Семенов». Он утешался, а Детгиз реагировал и не давал заказов (Илья зарабатывал картинками: зайцы, птицы, дети).

...Чтобы попасть к нему в мастерскую, надо было тащиться 16 пролетов по черной лестнице (куда жильцы выставляют помои) на чердак, пересечь его по двум дощечкам среди мусорных куч и позвонить в дверь. Не раз видела, как балансировали на этих досках, подбирая юбки, старухи-иностранки, любительницы андерграунда. «Ekzotik!» – верещали они, прикрывая носы платком. И видела красное лицо дамы из МОССХа, которая вошла запыхавшись и не сказала, а прошипела Илье: «Нарочно так устроили? Хотите всем показать?..» А он ничего не устраивал, он тут жил. Эту даму послали на разведку, что такое делает Кабаков, что западные галерейщики просят продать его работы. Вслед за ней явилась комиссия из МОССХа, и снова я стала нечаянным свидетелем, как они смотрели-смотрели на ржавые терки и чайники, прибитые к щитам, читали-читали подписи: «Нина Ивановна, это ваша терка?» – «Моя». – «А где же моя?» (Кабаков рисует дорогую его сердцу коммуналку) – и выходили из себя. «Нєт, – говорят, – это не искусство. Может, вы что-нибудь прячете?» Успокоились на том, что покупают Кабакова за антисоветчину. Были смешные споры: покупатель дает 10 тысяч долларов, а посредник (государство, берущее себе львиную долю этой суммы) говорит: «Больше трехсот рублей эта мазня не стоит».

Илья провел на чердаке лет тридцать. Если бы не жена (возила ему еду в банках и силой вытаскивала в гости), вообще не спустился бы на землю. Персонажи его картин сами являлись на чердак: пожарные, домуправ, санинспекция, запретили газовую плиту, замазали цементом камин, требовали выкинуть диван («Получается, вы тут живете!» – «Живу». – «Не имеете права. Только работать!» – «А прилечь иногда можно? Спина болит». – «Сядьте на стул»). Спасала всемогущая бутылка, которую уносил в кармане каждый из этих персонажей... Однажды к его двери прибилась кошка. Илья впустил ее. Страна в тот день была красной от флагов. Илья назвал кошку в честь того праздника – «Имени 50-летия дружбы братских народов СССР». Но поскольку, давая еду, обращался к ней короче: «Иди сюда, говно собачье», – то кошка отзывалась лишь на два последних слова.

О работах Кабакова говорить не могу, я не искусствовед, чтобы описывать музыку: «Вы слышите грозный шум волн...» Влюбилась в него как филолог, потому что на любой вопрос о картине, инсталляции или про жизнь Кабаков отвечает поразительной лекцией, когда думаешь: «Э, да он мыслитель, психолог, артист». Приведу наугад обрывки бесед, которые фиксировала в дневнике, а иногда нахально включала диктофон (он к нему равнодушен). В дневниках у меня часто встречается приписка к житейским ситуациям: «Спросить у Ильи».

О вездесущей, фамильярной даме (куда ни придешь, хоть в «Белый дом», хоть в клуб, хоть в гости на дачу, сперва видишь ее, потом остальных): «Известный тип. Так соседка в деревне входит в избу и сразу говорит-говорит, сыплет словесным мусором вам в лицо, в нос. На самом деле она не говорит, а смотрит. У нее фасеточное зрение вокруг головы, как у мухи, и она видит, кто в избе, что происходит, чем угощают. Это общение насекомоядных. Человек спешит уничтожить дистанцию между собой и вами, и вот он уже лучше вас знает, как вам поступить. Этих людей потом долго вынимаешь из себя, как глубокую занозу».

О тамаде, державшем застолье пять часов: «Большинству из нас среда кажется смертельной, боимся «перебежать дорогу», крадемся по обочине жизни. Не то грузин. Окружающее пространство – его родной дом. Он разговаривает через площадь, временно любит вас без спросу здесь и теперь... Но тем меньше его внутреннее пространство. Здесь пропорции незыблемы. Глядя на этих людей, мы чувствуем себя дворняжками, которые при виде пуделя в медалях думают: «И я мог бы вот так...»

Глядя на чужую картину: «Шизофреник в искусстве говорит: «Я везде!» Параноик: «Только это!» Эпилептик: «Только я!» Вот перед нами – типичное параноидальное искусство: автор бьет в одну точку и открывает немыслимые глубины под ней... Но смущает его убежденность, что схватил мир за хвост... Что перед нами не просто пророк, указывающий на более высокую инстанцию, а сама эта инстанция».

Бредем по Сретенскому бульвару. Илья начинает тему: «Хорошо было древним испанцам! Вся жизнь расписана. Отпел сколько надо под балконом, обвенчался, и уже через два месяца он с женой не разговаривает, волочится за кем попало. Но если узнал об ее измене, обязан убить. Ритуал! Не надо думать, изобретать. У нас же человек сам себе канон, он и законодатель, и исполнитель. Никогда не знает, то ли он плохо «решил» свою жизнь, то ли решил хорошо, но плохо исполнил. Какое счастье для большинства – ритуализировать свою жизнь... войти в стадо... как при Кобе».

За чаем с сушками у него в мастерской спрашиваю: «Изысканность – это ведь и успокоение?» – «Да, – соглашается, – любое «очерчивание» себя, обведение границ своих занятий, характера, круга друзей есть границы могилы. Возрастает цена минуты и «важность» любого жеста, поступка...»

Листаем альбом Юры Купермана (друг Ильи, живет в Париже). Илья ласково: «Юра часто говорил, что художник – вор в законе. Его цель – убрать с дороги фраеров, то есть соперников помельче. Для этого надо найти свою феню (способ убирать тех). Есть три стадии: найти феню, обточить феню и качать феню, то есть без конца на ней играть. Купер говорил, что он так навострился, что, глядя на картину, сразу видит феню автора, то есть чем он орудует. Но есть такие мастера, говорил Купер, что вижу – «убирает», но не вижу, чем. Собираясь в Париж, тревожился на этот счет, но теперь говорит, что там фраера, и он их смел с дороги». Сам Илья, по словам Купера, был одним из «мастеров», и Юра не мог выразить словами, в чем его суть. «Думаю, это была дружеская лесть мне, – говорит Илья. – Юра не так прост...»

Едем с выставки «Шестидесятники». С нами в машине один из устроителей: «Уже все развесили, является малограмотный хрен из отдела культуры Моссовета, требует снять то и то, иначе «не дам открыть». Звоню в горком партии: «Вы же разрешили!» Там дядька: «А вы не сдавайтесь! Спорьте! Доказывайте!» Им нынче велели по-отечески к нам относиться. Вот он и дает мне совет батьки, а сам смывается и трубку не берет. Нервы измотали ублюдки...» Илья ведет машину: «Эти люди не владеют ситуацией, а ситуация владеет ими. Они выжидают, куда повернет перестройка. Не хотят ни «идейно ошибиться, ни прослыть старперами». Он говорит, а я вспоминаю поляну в Филевском парке, где в самый застой вдруг разрешили нонконформистам выставить работы (после скандала, когда бульдозерами давили картины). Илья показывает мне: кустарник вокруг поляны посинел от милицейских мундиров, там же стоят водометы, «воронки» для развоза художников по участкам. Однако все обошлось. Илья: «Не могу этот факт объяснить. Поворот в нашу сторону? Нет. Чей-то каприз? Вряд ли... Морок какой-то... Нежить. Как будто «выглянул из-за дерева и пропал». Говорит и нервно смеется при этом.

Кружим по переулкам Неглинки. Илья – о «дедовщине» в художественной школе: старшие ученики заставляли младших обслуживать себя, отоваривать их карточки, чистить и варить им картошку, пока сами играли на пустыре «мячом» из тряпок, и были недосягаемы. Сколько малыши ни росли, бездна не уменьшалась. Недавно один из этих «старших» – Савостюк вызвал Илью на ковер и орал, зачем печатается «не в тех» журналах. «У них и сейчас дачи и огромные мастерские, а во дворе они сделали площадку и гоняют в футбол с тем же упоением. Только мяч у них не из тряпок, а настоящий черно-белый...» – смеется щелочками. Вдруг с горечью: «Мне 53 года, я уже седой. А меня зовут на партбюро секции и говорят, что не могут рекомендовать для поездки в Прагу как политически незрелого. Я шепчу, что сестра жены ждет нас в гости такими, какие мы есть, зрелые или не очень, ей все равно. Но эта банда уже глухая, ее не смешит сама затея – рекомендовать меня для поездки к свояченице...»

Долго не виделись. При встрече заговорил, будто вчера расстались: «Меня сейчас интересует пыльный человек. Знаешь этот тип, который ничего не выбрасывает? Он может ничего не иметь, но даже если просто стоит на улице, и то грязная газета прилетит и облепит его ногу, а дома все равно накопятся справка, конверт, квитанция. Обычные люди сортируют вещи, а у этого нет критерия, какая вещь важна. Тип не вполне ничтожный, он сродни такому, как Фабр, который купил участок земли и стал всматриваться, кто как ползает и какает. «Учеными» его записки стали позже, а он просто прилепил свою жизнь к насекомым. И Миклухо-Маклай такой же. Отхвати у него людоед ползадницы во время наблюдений, он не заметит. Но пыльный тип больше работает на мою мысль. Вот он разглаживает трамвайный билет, не зная, сохранить или нет. Это не ностальгия, это другое. Записка «Приду завтра» не потому важна, что связана с некоей Ниной, а как документ, что он живет. Других свидетельств у него нет».

Обрадовал, что в Париже купили два альбома его рисунков: «Вшкафусидящий...» и «Летающие люди». Подумал и добавил об этих работах: «Они, как гоголевский Нос, здесь никому не нужны. Место пустое, и если приставить нос, он падает. Хоть на шнурки привязывай».

Помолчал и сказал: «Еще меня тревожат некоторые песни, типа «Из-за острова на стрежень». Ведь он мог ссадить княжну на берег под чей-то присмотр. А он чудовищно поступил, потому что он такая же шпана, как и дружки его. И он пахан, то есть крупнее в подлости: не просто топит, а разводит блатную демагогию. А потом еще и кощунствует над святым поминанием: «Что вы, братья, приуныли...»

Показывал в гостях свой альбом «Ольга Георгиевна, у вас кипит!» и читал вслух тексты из него. Пошла ненормативная лексика, одна дама вышла из комнаты. Илья грустно: «Мат в искусстве – то же, что натура в живописи. А она путает живопись и порнографию».

Позвал смотреть новую инсталляцию: на бельевых веревках развешаны сотни белых картонок с текстами. Ходишь по лабиринту и читаешь-читаешь нашу изумительную жизнь, родную до боли, сердце екает, хочешь плачь или смейся: «Ты мне застишь, сука, отойди на фиг», «А кто это такой маленький пришел, ну иди, иди сюда, а где твоя бабушка, вот она, твоя бабушка», «Вы не видели мою консервную банку, в которой я яйца варю? Ну что за гады, опять исчезла», «Еще раз услышу, убью на фиг, не знаю, что с тобой сделаю», «Я тебе хочу сказать, что не хочу с тобой разговаривать», «Иван Петрович, там в приемной этот псих, инвалид, квартира сгорела, все ходит, идиот, выйдите в другую дверь, я покараулю»... Белые квадратики чуть покачивались и словно шептались между собой: ругались, смеялись, плакали. Было страшно: лабиринт человеческих голосов. Успокоившись и обдумав инсталляцию, я важно сказала Илье: «Да-да, мы не беседуем, а сотрясаем воздух. Эрзац общения. Вокруг нас стоит мощный словесный шум!..» Хотела развивать тему, но Илья убрал меня тихой фразой: «Это не шум, это и есть жизнь».

Получила от Ильи письмо: «...Бог знает, когда окажусь дома и будем говорить... Здесь все тихо в сравнении с нашим миром. Окружающее выглядит нереальным, а реальное – только в тех инсталляциях, которые я ставлю и ставлю по всему свету, и туда стараюсь накачать, вдунуть тот воздух, которым переполнен до края. Странно, но это напряжение не спадает – и все время строишь и строишь углы, куски нашего мира и его персонажей с того чердака, который виден из твоего окна. И эта жизнь, от одной инсталляции к другой, единственно реальная... Великое слово – в командировке. В вечной без конца командировке...»

Дочь Галя везла ему в Париж «материал» со свалки (там такого нет). Французские таможенники долго вертели в руках ершик без щетины: «Кес ке се?!»

Из статьи в «Ъ-daily» от 25 марта 1994 г. о выставке в Дармштадте: «Мы нередко преувеличиваем «региональный» характер творчества Кабакова, тогда как на Западе его воспринимают в качестве своего рода Феллини, художника, который работает со своим весьма личным опытом, но выстраивает из него нечто до смешного всем понятное, и понятное тем более, чем больше оно гиперболизировано и абсурдно... Его работа может выглядеть пародией, но она таковой не является...»

Однажды я спросила, почему он не был вчера на светском рауте, где его все ждали. Он сказал мне шепотом на ухо: «Я уже удил рыбу на заре и собирал грибы в лесу. Я уже знаю, что это такое. А что у меня сегодня получится в мастерской, я не знаю. И с этим ожиданием ничто не сравнится...»

Нинэль ЛОГИНОВА

Кабаков Илья